

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



## ТЕЛЕЦ ДЛЯ БЛУДНОГО СЫНА

РАССКАЗ

1

Родную Еловку Лёха Шубников покидал в добром расположении духа. Верно, с утра его немного мутило “после вчерашнего”, но за завтраком он пропустил пару стопок прохладной водки под малосольные огурчики, вылебал чашку домашней лапши с молодой курятиной, которую любил с детства, и тошнота ушла. Головную боль тоже как рукой сняло. К нему вернулось бодрое настроение, деятельное и даже бойцовское, в котором он пребывал последнее время, после удачного устройства в охранную фирму “Секьюрити-плюс”.

Конечно, опохмеляться перед дальней дорогой, да еще за рулём было делом рискованным, могли тормознуть гаишники... Но у Лёхи, благодаря новой работе, появилось немало знакомых не только среди крутых охранников, но и в кругах милицейской, дэпээсовской братвы, поэтому он частенько позволял себе езду “под мухой” даже по городу, не говоря о трассах и просёлках. Бывало, что и задерживал кто-нибудь из “чужих” или слишком дотошных патрулей, но свои “пацаны”, как правило, “отмазывали”.

---

*ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в селе Таскино Красноярского края, в крестьянской семье. По образованию — учитель словесности и журналист. Автор двух десятков книг, в том числе прозаических — “Свет всю ночь”, “Деревянный всадник”, “Мельница времён”, поэтических “Трубачи весны”, “Глубинка”, “Жалейка”, “Венцы” и др. Заслуженный работник культуры РФ. Член СП России. Лауреат краевых литературных премий, а также Международного конкурса детско-юношеской литературы имени А. Н. Толстого. Живет в Красноярске.*

Придавало бодрости и то, что у него накануне всё так ловко получилось с Лариской Лебедевой. Она нравилась Лёхе еще в школьные годы. Училась на ступеньку пониже его, но развивалась не по годам и к выпускному классу превратилась в такую невесту, с такими обещающими формами и томными зовущими глазами, что дальше поучиться ей не дали назойливые женихи. Тем более что за полным средним образованием надо было ехать в райцентр, а туда, уже по скромности родительских доходов, не каждому юному еловцу лежала дорога. Из поклонников Лариска предпочла, как теперь водится, богатенького дельца, “опять” холостяка Макса Полянского. Он жил и вёл торговлю в Красноярске, но открыл торговую точку и в Еловке, где у него был ранее прикуплен элеватор и куда он частенько наезжал по коммерческим делам.

В тот магазин-то, обычный павильончик, он и пригласил Лариску, закончившую местный курс наук, поработать продавщицей. Пригласил явно не без определённого прицела. Лариска, конечно, догадывалась об этом, ибо наслышана была о “праве первой ночи”, якобы возвращаемом нынешними хозяйчиками из крепостнических времён, однако в магазин всё же пошла — другой работы в селе, кроме как на домашнем подворье, ей не предвиделось. Но хозяину, похоже, “первой ночи” не хватило: вскоре он увёз Лариску с собой в город и даже, как утверждали слухи, гулявшие по Еловке, женился на ней. Правда, не законным, а неким “пробным” браком. Притом в подобные он, по рассказам, “вступал” уже не впервые, за что злые языки в Еловке его называли “пробником”, как того молодого жеребца, которого запускают в табун на предмет выявления охоты у коровиц...

Ну а Лёха, ревниво пережив все эти Ларискины приключения, после школы остался в деревне. Копался в домашнем хозяйстве, помогал матери. Потом поработал в наёмниках у местного фермера Петра Кулагина, бывшего агронома еловского колхоза, прихватившего в годы всеобщей растащивки половину артельной техники и земли; потом — на “разных” да подсобных работах в возродившемся, но уже бесштанном сельхозкооперативе. А после недолгой службы в армии, куда его, единственного сына матери-одиночки, всё же забрили из-за хронического недобора в рядах защитников Отечества, он с помощью одного земляка, зацепившегося в Красноярске, устроился в ту самую охранную фирму, даже добыл общежищную гостинку за умеренную взятку и тоже переехал в краевой центр. Но Еловку не забывал, изредка навещал мать, жившую подсобным хозяйством.

Любил козырнуть перед односельчанами то новым камуфляжем с ножнами или зачехлённой дубинкой — “демократизатором” — на боку, то иномаркой или дорогущей, по еловским меркам, “мобилой” с музыкой, эсэмэской и прочими прибабасами. И вот, приехав в очередной раз домой, пошёл вечером в клуб на дискотеку, на “тырло”, как выражались местные остряки, и неожиданно встретил там Лариску. Она, оказывается, сбежала от Макса с его “баксами” и на время вернулась к родителям, чтобы, по её словам, прийти в себя и оглядеться. Вместе с прежней симпатией к ней кольхнулось в сердце Лёхи и какое-то ревниво-мстительное чувство. Он пригласил Лариску на танец, отвесил ей с видом этакого мачо несколько булыжных комплиментов и, памятуя, что нынче скромным не подадут, с ходу напросился в провожатые. Она не возражала.

И когда после отгремевшей дискотеки, уже у калитки, Лёха как бы вскользь предложил попить чайку на прощанье, Лариса снова возражать не стала. Она очень кстати дома оказалась одна. Родители уехали в город с ночевой, повезли на рынок молодую картошку, а беглянку-дочь оставили на хозяйстве. За столом со свечами она подала гостю не только чай, да и сама не ограничилась этим ароматным тонизирующим напитком. И потом всё у них получилось как-то само собою...

Домой Лёха вернулся далеко за полночь. Долго ворочался перед сном, приятно ошеломлённый всем происшедшим. И засыпая, отметил про себя, что вместо мстительно-победного чувства его всё более наполняет какое-то щемящее и даже грустное. Впрочем, эту перемену он ощутил ещё там, у

Лариски, когда она неожиданно призналась ему в минуту нежности: “Ты ведь тоже мне ещё в школе нравился, Алёша...”

Утром за столом, вспомнив об этом, он смущенно мотнул головой, словно стяхивая морок, поднялся и, дожёвывая на ходу кусок, стал быстро собираться в дорогу. Мать подала ему два увесистых пакета, набитых всякой домашней снедью — от солений, варений до горячих пирожков только со сковородки — и, пряча повлажневшие глаза, сказала тихо:

— Женился бы, Алёш... Чего одному-то сухомыткой маяться?

И сын, хотя в их семье не были приняты подобные сентиментальности, тронутый словами матери, на секунду приобнял её за дряблые плечи, ответив расхожей сельской поговоркой:

— Жениться — не напасть, да как бы женатому не пропасть... — А потом, шагнув к порогу, кисло скривился и добавил: — Да и не модно теперь это, мам. Чего нищету плодить? Для себя поживу, как другие...

Пресекая вдоль сельскую улицу на японской “короле” (по-еловски, “корове”), он встретил нескольких знакомых сверстников, но ни разу не остановился, как делал ранее; парням просто помахал из кабины, а девкам послал воздушные поцелуи. Несмотря на приятные воспоминания и бодрое настроение, ему почему-то хотелось скорее покинуть родную Еловку.

## 2

Остановился он только далеко за поскотиной, притом вроде бы неожиданно для себя. Увидел вдруг на отшибе, на сланке у леса, одиноко пасшегося телка, красно-пёстренького, справненького, с белой звездой на лбу, и в первый момент невольно залюбовался им. Но тут же ему пришла на ум шальная мысль, что неплохо бы прихватить телятинки в город, раздать в качестве деревенского гостинца приятелям из охранной команды, да и в свой полупустой холодильник забросить кусок-другой свежего молодого мяса, к которому он равнодушен с детства...

Впрочем, Лёхе эта мысль не показалась такой уж и шальной. Со времён разгуга демократических свобод и прав человека городские моторизованные налётчики подобное проделывают частенько, особенно — в пригородных селеньях. Он сам не раз встречал скотские шкуры и головы в лесах вокруг окрестных деревень. Но что-то не слышал громких судебных процессов по случаям подобного разбоя. Милиция смотрит на диких мясников сквозь пальцы, да и трудно поймать их — ищи ветра в поле...

И Лёха, недолго думая, вынырнул из кабины, оглянулся — дорога была пуста. Достал из багажника ладный топорок, который привычно возил с собой на всякий случай, зачем-то поправил охотничий нож на ремне, выдаваемый им за “служебный”, и пошагал напрямик к теленку. На ходу перебросил топор в правую руку и непроизвольно спрятал его за спину.

Телёнок щипал себе траву, не обращая внимания на подхихившего человека в пёстром камуфляже. Видимо, был из ручных и доверчивых. Опытным взглядом крестьянского сына Лёха определил, что это бычок-сеголеток, но, должно быть, ранний, февральский либо мартовский, потому как выглядел довольно рослым и упитанным. Когда он подошёл к тельцу совсем близко, тот дружелюбно потянул к нему свою мордочку с белой звездой и розовыми губами, шумнодохнул теплом из влажных ноздрей и, хлопая глупыми глазами, даже по-свойски мумукнул. Может, в ожидании куска хлеба из руки прищельца, заведённой за спину. По крайней мере, у Лёхи мелькнула в памяти похожая картина из недалёкого детства, когда он частенько угощал своего телка хлебным ломтем, посыпанным солью...

Но в тот же миг он, отгоняя это воспоминание о нежностях телячьих, вскинул топор и со всей силы заехал обухом между рожков бычка, едва наметившихся над его кудрявым лбом. Бычок, словно в недоумении, вытаращил на убийцу голубоватые глаза, с отливом снятого молока, издал короткий глухой звук — не то стон, не то вздох — и рухнул. Сперва припал на

колени, а потом завалился набок в траву и забил, задёргал всеми четырьмя ногами. Лёха мигом выдернул из ножен кинжал, своё “охранное” холодное оружие, и торопливо перерезал бычку горло. Хлынула кровь. Лёха с испугу отскочил в сторону, распрямился и завертел головой, воровато оглядываясь.

Просёлок по-прежнему была пуст, окрестные поляны и леса — тоже безлюдны. Однако он всё-таки решил убрать машину с дороги. Вытер руки о траву, потом с особой тщательностью — нож, сунул его в ножны, топор заткнул за ремень и быстро пошагал к машине, оставив на еланке тельца, уже обездвиженного.

Неподалёку, аккуратно в сторону лежавшей в траве туши, был съезд с дороги. Лёха по нему загнал машину в лес, подальше от посторонних глаз. И сделал это вовремя, ибо едва он заглушил мотор, как увидел сквозь деревья, что к селу прокатился грузовик, должно быть, еловский. Но разнотравье на елани, благо, было густым, высоким, и утопавшего в нём бычка заметить не могли. Лёха суетливо подошёл, почти подбежал к нему, ухватил рукой за заднюю ногу, другой — за хвост и быстро поволок тушу в лес. Голова бычка моталась из стороны в сторону, прыгала по кочкам, и в прищуренных потускневших глазах читались уже не страх и удивление, как в миг удара обухом меж рогов, а немая укоризна и вроде бы даже презрение к двуногому в камуфляже. От Лёхи не укрылся этот взгляд, и он, углубившись в лес и развернув тельца посподручней, первым делом отмахнул ему топором голову вместе с укором жидко-синих глаз и светом белой звездочки на лбу. А потом выхватил из ножен тесак, поставил тушу на хребтину, хищно взрезал шкуру от заднего прохода — через брюхо — к шее и принялся спешно свежевать, отмахиваясь от налетевшего гнуса — едучей мошки, прилипчивых мух и запоздалых паутов.

...Докатив до города без особых приключений, Лёха решил поскорее отделаться от сомнительного трофея, чтоб не висел за плечами и не давил на психику. Сначала заехал к себе в гостинку, затарил холодильник лучшими кусками от грудинки, оковалка, стёгон, остальные развёз по друзьям, в основном — из охраны и милиции: кому на дом, а кому прямо на службу. Он ещё в лесу предусмотрительно разделал тушу на удобные порции, и теперь долго возиться с мясом не пришлось. Все остались довольны столь неожиданными подарками, особенно — семейные, некоторые тут же норовили сообщить по “сотикам” своим женам радостную весть, что, мол, придут не с пустыми руками — гостинца из деревни “заяц послал”.

— А заяц еловский трепаться не любит, — каждый раз добавлял Лёха и хохотал, довольный.

Иные даже предлагали деньги, на что он обиженно отмахивался: “Какие деньги? Это ж своё, домашнее...” Но когда один из новеньких сослуживцев Вася Брюханцев, стеснительный молодожён, пригласил его к себе домой отужинать по такому случаю, Лёха не отказался. И они славно посидели за сковородкой свежинки, незаметно откусав под неё бутылочку другую русской горькой. Притом хозяин, в недавнем прошлом учитель словесности и большой книгочей, всё представлял в лицах из Гиляровского беседу одного барина, завсегда старомосковских трактиров, с бородатым половым, на ходу подправляя её сообразно текущему моменту:

— Чем порадуешь ныне, Дормидонтыч?

— Есть телятинка от графа Лексея Еловского, бела как снег, что-то особенное!

И сам закатиисто смеялся своей ловкой выдумке, следом прыскала в ладошку его жена, влюблённо глядевшая на своего остроумца, а за ними невольно ослабивался и щедрый гость, виновник застолья. Лёха, правда, писателя Гиляровского не читал и прежде даже не слыхивал о таком, но верные слова про телятину ему нравились. И когда он возвращался около полуночи в свой скворечник по улице Ново-Тупиковой, то про себя произвольно повторял: “Бела как снег, что-то особенное...” — и фыркал в темноту.

...Прошло, наверное, недели две с того вечера. Лёха уже и думать забыл о несчастном телёнке, освежёванном им за еловской поскотиной. Последний кусок грудинки накануне доварила приходящая подруга Настя, в очередной раз навестившая его, а остаток от стегнеца он поутру завернул ей с собой в дорогу. И вот вдруг вместе с газетой “Спид-инфо”, единственной, которую выписал недавно Лёха, по совету новых друзей, как самую прикольную, вытащил он из почтового ящика письмо от... матери. Оно так удивило его, что он трижды прочитал адрес отправителя, думая, уж не подвох ли это. Дело в том, что мать ни разу не писала ему писем после того, как он вернулся из армии. Да и туда посылала нечасто. Она не отличалась грамотой, и вообще в их роду не было принято писание писем. Он здесь же, возле почтового ящика, сунув “Спид-инфо” за пазуху, вскрыл конверт, развернул листок из старой школьной тетради в косую линейку, узанной им, и, углубляясь в материнские строки, почувствовал впервые за последние годы, как наливаются краской его щёки и бежит холодок по корням волос...

“Здравствуй, родной сын мой Алексей, — писала мать. — Беспокою тебя с большого горя. В день, как ты уехал в свой город, не вернулся вечером наш телок Фонарик. На этот раз вы не свиделись, он допоздна на выпаса, ты в клубе, но, может, помнишь его по прошлому приезду. Тогда он малой был, в ограде на солнушке бегал, красненький такой, только в белых носочках и с белым же пятном на лбу, округлым, ровно огонёк свечной. Потому и назвала я телёнка Фонариком. Забавный был, шибко любила его, доброго да ласкового. Как подросток, всё время гулял за поскотиной самопасом, далёко другой раз забредал, но не блудил, всегда сам домой вертался. А тут не пришёл... Я ночь не спала. Наутро чуть свет пошла искать его. Всё обшарила кругом, все окрестности. И нашла токо на пятый день... Да такое нашла, Лёшенька, что лучше бы совсем не находить, до сих пор душу саднит, вот пишу и плачу...

А натокалась я далеко за деревней, аж за Светлой еланью, в лесу под кустом, страх сказать, на шкуру нашего Фонарика. Отвернула край, а там голова со звёздочной на лбу и ноги в белых носочках, окровавленных... И неподалёку осердие брошено и требушина. Уже с запахом... По нему и нашла... Убил какой-то злодей нашего Фонарика.

Нонче это прямо как поветрие. Особо ближе к осени. Налетает городское жульё, режет крестьянский скот на выпасах, бросает в кузов али в багажник — и поминай как звали.

Ты, Алёша, как-то говорил, что с милицанерами знаешься, попроси кого из их, может, приедет с учёной собакой да след возьмёт, али здешних людей порасспросит. Поди, кто видал убийцу-то. Неужли прощать такое злодейство стервецу тому?

А пока — прощай. Слёзы душат меня...

Остаюсь твоя родная мать — Елизавета Шубникова”.

Дочитав до конца сбивчивые строчки, Лёха произвольно оглянулся, как в том лесу за еланью, спешно спрятал письмо в нутряной карман, словно опасаясь, что кто-то сможет подсмотреть, что в нём написано, и побежал наверх по лестничным маршам, шагая через две ступеньки, в свою тесную гостинку. Там, не раздеваясь, упал на диван, служивший ему также кроватью, и уткнулся лицом в подушку.

— Ведь я ж заметил, когда подходил к бычку, что он смотрит на меня как-то по-особому, по-свойски, будто знает меня, — подумал Лёха.

У него вроде даже зачесались глаза, и тёплая влага подступила к ним. Но он тотчас отдернул голову от подушки, сел на диване и встряхнул плечами, чтобы взять себя в руки.

— А что, собственно, случилось? — хладнокровно стал рассуждать он. — Ничего особенного. Никто меня не видел, никто не засёк. Всё шито-крыто.

И, вообще, сколько он стоит, этот паршивый Фонарик? Да я завтра же три таких куплю, если надо. Хоть в живом весе, хоть в убойном...

И, ободрившись, он тут же присел за низкий, не то журнальный, не то кухонный столик, единственный в его убогом жилище, вырвал лист бумаги из общей тетради с конспектами, забытой ещё одной его подружкой без комплексов, — и стал, впервые за годы своей новой городской жизни, писать письмо матери.

После беглых строк лукавого сожаления об убийстве залётным громилой её Фонарика и выражения готовности “компенсировать” утрату, словно бы продиктованных кем-то из-за левого плеча, он вдруг почувствовал, что перо его застопорило, а мысли стали путаться, ибо другой голос, справа, перебивал наставительным шёпотом: “Опиши-ка лучше, друг, всё без утайки, как было, откройся матери, покайся — и полегчает на душе...” Алексей замер в раздумье, не зная ещё, какому голосу последует, но всё же для начала почти произвольно зачеркнул чёрной верёвочкой набросанные лживые строчки и зачем-то трижды перещёлкнул стержень авторучки...

